ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА ЧЕРНЫШЕВСКОГО “ЧТО ДЕЛАТЬ?”

Нетрадиционная и непривычная для русской прозы XIX века завязка произведения, более свойственная французским авантюр­ным романам, — загадочное самоубийство, описанное в 1-й главе “Что делать?” — была, по общепринятому мнению всех исследова­телей, своего рода интригующим приемом, призванным запутать следственную комиссию и царскую цензуру. Той же цели служил и мелодраматический тон повествования о семейной драме во 2-й главе, и неожиданное название 3-й — “Предисловие”, которая на­чинается словами: “Содержание повести — любовь, главное лицо — женщина, — это хорошо, хотя бы сама повесть и была плоха...” Более того, в этой главе автор, полушутливым-полуизде­вательским тоном обращаясь к публике, признается в том, что он вполне обдуманно “начал повесть эффектными сценами, вырванны­ми из середины или конца ее, прикрыл их туманом”. После этого автор, вдоволь посмеявшись над своими читателями, говорит: “У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже и языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего <...> Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей”. Читатель озадачен: с одной стороны, автор явно презирает его, причисляя к большинству, с которым он “нагл”, с другой — как будто готов раскрыть перед ним все карты и к тому же интригует его тем, что в его повествовании присутствует еще и скрытый смысл! Читателю остается одно — читать, а в процессе чтения на­бираться терпения, и чем глубже он погружается в произведение, тем большим испытаниям подвергается его терпение...

В том, что автор и в самом деле плохо владеет языком, читатель убеждается буквально с первых страниц. Так, например, Черны­шевский питает слабость к нанизыванию глагольных цепочек:

“Мать перестала осмеливаться входить в ее комнату”; обожает по­вторы: “Это другим странно, а ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно”; речь автора небрежна и вульгарна, и порой возникает ощущение, что это — плохой перевод с чужого языка: “господин вломался в амбицию”; “Долго они щупали бока одному из себя”; “Он с изысканною переносливостью отвечал”;

“Люди распадаются на два главные отдела”; “Конец этого начала происходил, когда они проходили мимо старика”; авторские от­ступления темны, корявы и многословны: “Они даже и не подума­ли того, что думают это; а вот это-то и есть самое лучшее, что они и не замечали, что думают это”; “Вера Павловна <...> стала думать, не вовсе, а несколько, нет, не несколько, а почти вовсе думать, что важного ничего нет, что она приняла за сильную страсть просто мечту, которая рассеется в несколько дней <...>, или она думал что нет, не думает этого, что чувствует, что это не так? Да, это не так, нет, так, так, все тверже она думала, что думает это”. Време­нами тон повествования словно пародирует интонации русской бы­товой сказки: “После чаю... пришла она в свою комнатку и прилег­ла. Вот она и читает в своей кроватке, только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне: что это, последнее время, стало мне несколько скучно иногда?” Увы, подобные примеры можно приводить до бесконечности...

Ничуть не меньше раздражает смешение стилей: на протяже­нии одного смыслового эпизода одни и те же лица то и дело сбива­ются с патетически-возвышенного стиля на бытовой, фривольный либо вульгарный.

Почему же российская общественность приняла этот роман? Критик Скабичевский вспоминал: “Мы читали роман чуть ли не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги”. Даже Герцен, признаваясь, что роман “гнусно написан”, тотчас оговаривался: “с другой стороны, много хорошего”. С какой же “другой стороны”? Очевидно, со стороны Истины, служение ко­торой должно снять с автора все обвинения в бездарности! А “пере­довые умы” той эпохи Истину отождествляли с Пользой, Пользу — со Счастьем, Счастье — со служением все той же Истине... Как бы то ни было, Чернышевского трудно упрекнуть в неискренности, ведь он хотел добра, причем не для себя, но для всех! Как писал Владимир Набоков в романе “Дар” (в главе, посвященной Чернышевскому), “гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист”. Другое дело, как сам Чернышевский шел к этому добру и куда вел “новых людей”. (Вспомним, что цареубийца Софья Перовская уже в ранней юности усвоила себе рахметовскую “боксерскую диету” и спала на голом полу.) Пусть же революционера Чернышевского со всей строгостью судит история, а писателя и критика Чернышевского — история литературы.